Вера Панова

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

- Вера Федоровна Панова
  -
  - Примечание
- notes
  - 1
  - 2
  - 3

Вера Федоровна Панова
Из запасников памяти

О писательской памяти

Летом 1931 года я с мужем и детьми поехала в Шишаки, село в Полтавской области, на реке Псёл, тут я эти Шишаки увидела впервые и сразу очаровалась и влюбилась. Впоследствии это село с его речкой, лесом, сосновым бором, белыми хатами и вишневыми садиками сыграло в моей жизни громадную роль: ни Ростов, ни Ленинград такой роли не играли, но тогда я этого не предвидела, любила платонически.

Домик, в котором я жила, я описала, в таком домике жил мой Сережа. Такой описана природа тех мест — в «Сереже» и «Ясном береге». В свое время пригодились многие детали и истории, узнанные тогда в Шишаках, например история второго замужества матери Листопада в «Кружилихе».

На этом-то материале проявилась одна моя способность, которая с годами значительно ослабела и которая в высшей степени полезна литератору: я обнаружила в себе как бы некие запасники, куда совершенно непроизвольно откладывались впечатления и наблюдения, чтобы затем явиться без всякого моего усилия в нужный момент и занять свое место в моей работе. Уже когда я писала первые свои книги — «Спутники», «Кружилиху», — эти запасники вдруг являлись, как бы всплывая, и служили мне поистине неоцененную службу. Это были характеры, лица, имена, судьбы, голоса.

Может быть, такого рода механическая память и отличает писателя от неписателя. Это всплывание в нужный момент — не оно ли называется вдохновением!

Причем из огромного числа явлений, проходящих перед нами, почему-то некоторые особенно овладевают нами, запечатлеваются с особенной силой, зажигают фантазию. Скажем: я всегда любила цветы, всякие. Даже пустяковый цветок герани меня чаровал. Но почему из всего множества полевых, диких цветов особенно владеют мною уже много лет розово-белый граммофончик повилики и совершенно неказистый (ни цвета, ни запаха), даже невзрачный, даже в чем-то уродливый цветок дикого цикория, по-русски щербака, который на солнце так быстро становится блеклым, грязно-голубым, выделяющим

противный липкий сок? Я стала писать «Феодосия» потому, что мне стала являться утренняя луговая зелень вся в граммофончиках повилики и в серо-голубоватых звездах щербака. Я там упомянула и ромашки — люблю и их, но вдохновляли не они.

Эта избирательность, этот — наугад — выбор является, видимо, непременной частью той способности бессознательного накопления, которую я в себе обнаружила в наибольшей степени на материале, приобретенном в Шишаках. Далеко не весь он исчерпан. Где и когда расскажу я о леваде с ее высокой, почти по плечи человеку, травой, с ее прохладной землей, по которой так сладостно идти босыми ногами, с торжественными заседаниями аистов поутру на выкошенном местечке? С маленькой криницей, окруженной смолисто-черной грязью от пролитой воды, с декорацией из белых хат и желтых подсолнухов? Где и когда опишу деревенский огород с зреющими на солнце маленькими пупырчатыми огурцами, оранжевыми цветками тыквы и кружевными шапками укропа? Где и когда опишу бронзово-загорелые статные ноги молодых украинок, осторожно ступающие по этим плодоносным грядам, темно-русые и черные косы, ниспадающие до земли, когда чернобровая хозяйка наклоняется, чтобы рукою вырвать зловредный пырей или лебеду, засоряющие ее гряды? О, сколько еще залежалось в запасниках, сколько еще неиспользовано, с какими еще предметами суждено встретиться заново на белом листе? Я знаю, что встречи будут, что стоило все это беречь, — лежит в запасниках прочно, и верный страж — память неусыпно стережет накопленное.

Когда некоторые начинающие литераторы просят меня поделиться с ними «тайнами» писательского ремесла, мне хочется задать им вопрос: «А вы в себе ощущаете возможность накопления материала?» Мне кажется, что без этой возможности в нашем деле просто не просуществовать.

У этого накопленного материала, кроме способности в нужный момент отдавать то, что является самым важным, есть еще одно свойство: самоконструироваться, слагаться в некую постройку, из деталей образовывать нечто цельное. На своей практике знаю, что никакие заранее сочиненные схемы, планы, чертежи не помогают сложить роман, повесть, рассказ. Произведение слагается само, узел за узлом, либо не слагается вовсе, как не раз и не два у меня случалось: кажется, всю кровь и весь мозг выжимаешь из себя, силясь сделать нечто, — и все напрасно. И конструкцию вроде придумал, и все нужное для нее подобрал, нет, не выходит, не быть произведению.

Если же ему быть, то оно из твоих тайников само отбирает

все, что ему нужно, и вот звучат голоса, а за голосами всплывают лица, и вот уже эти лица вступают во взаимоотношения, и вот сложилась конструкция, и ты уже можешь окинуть взглядом то, что сложилось, и приняться за отделку фраз, за сюжетные уточнения, придумывать, как бы получше это начать и как закончить, и искать слова поточнее, упорядочивать все это хозяйство. Может быть, это имел в виду Гоголь, когда писал: «Бог водит моей рукой». Я не чувствую себя достойной того, чтоб моей рукой водил бог, но что ею водит моя память, пододвигая мне под руку то, что сейчас может руке пригодиться, это я замечала не раз.

Когда это начинается, то уж не вставай из-за стола, пользуйся, пока тебе это дается. А кончилось оно — и не пытайся написать что-нибудь: источник иссяк, ничего не будет.

В записные же книжки, несмотря на то, что в литературе сохранился ряд блестящих записных книжек, я не очень верю. Если надо записывать, чтобы запомнить, значит, глаза смотрели невнимательно, ухо слушало небрежно, память отвергла.

То, что я записывала в санпоезде, составило потом брошюру, в сущности никому не нужную и никого не заинтересовавшую, а повесть «Спутники», у которой до сих пор есть читатели, написана на материале, сохраненном в памяти за многие годы.

То же самое могу сказать о «Сереже», «Вале», «Володе», даже об исторических моих повестях. Да и «Ольгу», и «Феодосия» я написала, прибегая не столько к историческим сочинениям, сколько к запасам моей памяти. Я где-то видела и дом матери Феодосия, и переулок, куда через щель в заборе выбирается Феодосий, и те ткацкие станы, какие были в Ольгином доме.

Такой стан стоял в доме Дениса Трофимовича Воронянского, а работали на нем молодайка Христя и старуха Софья. И не надо было большой силы воображения, чтобы смекнуть, что такие станы, дежи, корыта были и в доме княгини Ольги, а может быть — и в доме Рюрика.

Много позднее, в Болгарии, я в старых деревенских домах видела старинное парадное убранство и перенесла его в Ольгины покои: как же иначе они могли быть убраны, если не по-старославянски? А среди барельефов Пергамского алтаря был один, изображавший Диану на охоте, и я одела охотящуюся Ольгу так, как одета на барельефе Диана. Некоторые специалисты по костюму уверяли меня, что в древности и средневековье на Руси обувались только в легкую открытую обувь — сандалии и лапти, но Диана на барельефе обута в расписные сапожки, и это мне показалось более близким к истине: скифский сапог, несомненно, лучше защищал ножки богини и несомненно должен был быть

известен и эллинам, и римлянам, и руссам, и я ничтоже сумняшеся обула Ольгу-охотницу по образцу Дианы, а девочку Ольгу — по образцу шишакских девочек — тулупчик, платок, валенки, яркая тесьма по подолу платья. И все эти вещи сами выходили из-под моей руки в то время, как рука писала.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Еще о книгах моего детства

Я рано, даже чрезмерно рано, стала читать все, что находила в скромном отцовском шкафчике: Тургенева (мир любви в «Вешних водах», мир любви и вражды в «Отцах и детях»), Гоголя (открытие красот природы, волнующее понятие о том, как много своеобразных народов и отдельных людей живет одновременно со мной и сколько таинственного, подчас страшного в жизни). «Вий», «Страшная месть», «Заколдованное место» — это было не только страшнее, чем «хоха», но и достовернее. В глубине души я знала, что «хоха», качающая бомбошки кресел, не существует, а вот выходящих из могил мертвецов в саванах и летающий гроб, казалось мне, я увижу когда-нибудь не только на тех жутких картинках, которые я намеренно старалась пропустить, перелистывая книгу Гоголя, этих мертвецов и летающий гроб я увижу на самом деле, они есть и они неотъемлемы от подлинной жизни, тогда как «хоху» придумали мама с бабушкой или какие-нибудь их знакомые.

Короче говоря, я верила всему, что читала. Такие люди, как Базаров и Волохов, были мне как-то очень симпатичны — не знаю почему, и, безусловно, существовали.

А потому мне было интересно прочитать про них у Писарева, которого мне, тоже очень рано, предложил почитать милый дядя Сережа, понимавший меня, и Писарев присоединился к тем двум симпатичным и тоже стал мне нужен.

И вообще меня окружали книги, и именно по ним, а вовсе не по кубикам с буквами, я научилась читать.

Писарева я любила еще и за его веселое остроумие. Он во мне развивал любовь к хорошей шутке, к улыбке. Вкус к юмору прививали и Козьма Прутков (как я обрадовалась впоследствии, узнав, что этот писатель создан А. К. Толстым и братьями Жемчужниковыми, каким ликованием наполняло меня это прелестное литературное озорство). Когда дядя Сережа посоветовал мне читать Диккенса, я сразу оценила своеобразие диккенсовского юмора, не похожего ни на гоголевский, ни на

прутковский, — вкус мой ширился.

Мама приносила мне книги из библиотеки. Оттуда густо шел Жюль Верн, потом Майн Рид. Они не производили на меня сильного впечатления, так же как и Купер, которого я брала читать у знакомых.

В то же время я читала Вербицкую, воруя ее из шкафа бабушки Надежды Николаевны.

И — совершенно в то же время — «Жизнь европейских народов» Водовозовой и «Астрономические вечера» Клейна. Это были мамины наградные книги, она получила их в гимназии «За отличные успехи и примерное поведение», как было на них написано. И эти книги я очень любила и до сих пор помню голубые переплеты сочинений Водовозовой и пестрые таблицы с изображением спектров, протуберанцев и солнечной короны, выпадавшие из книг Клейна.

Кажется, из маминых же наград был в доме Багров-внук в синеньком с золотом переплете, эту книгу я обожаю с тех пор, почти не было года, чтобы я не перечитывала это чудесное произведение. А вот откуда были в доме две тоненькие, но такие славные книжки — одна под названием «Малороссия», другая, кажется, «Россия»? В первой были собраны стихи и сказки, относившиеся к Украине, во второй — к России. Из второй я узнала прекрасные стихи Ив. Никитина:

Посмотрю на юг
Нивы спелые,
Что ковыль густой,
Тихо движутся.

Особенно мне нравились (и сейчас нравятся) последние строчки:

Это ты, моя
Русь державная,
Моя родина
Православная.

А в первой книге я встретилась с Шевченко:

Садок вишневый коло хаты,
Хрущи над вишнями гудуть.

Не понимаю, почему сейчас не издаются такие сборники. Не ахти какой труд их составить, и насколько же более эти дивные стихи воспитывают любовь к родине, чем серятина, стряпаемая теми, кто «приспособился для детей».

С 1915 года мне стали выписывать журнал «Задушевное слово» для старшего возраста. Этот журнал давал множество разнообразных и отличных приложений. Помню, в первый же год подписки я получила: «Царство гусениц», до десятка цветных листов, из которых я сшила маленький альбом и подарила нашему любителю-энтомологу дяде Сереже; Астрономический атлас, содержавший карты северного звездного неба на все месяцы года, и несколько небольших книжечек «Петя Ростов» — в сущности, комикс, из которого я впервые узнала о семье Ростовых (года через три, читая полностью «Войну и мир», я уже всех там узнавала в лицо). Вот какие приложения давал детский журнал моего детства. Но помимо этих хороших и прекрасных книг были и другие, сортом ниже, были и писатели, специализировавшиеся на изготовлении этой детской литературы невысокого ранга. Как умолчу, скажем, о Лидии Алексеевне Чарской? Все девочки того времени были без ума от ее книг (а читающие девочки всегда составляли значительный процент читающей публики). В частности, своим широким распространением журнал «Задушевное слово» был обязан и тому, что каждый год печатал две новые повести Чарской: одну для старшего возраста и одну — для младшего. «Княжна Джаваха», «За что?», «Лесовичка», «Сибирочка» — думаю, большинство моих сверстниц помнит эти названия толстых раззолоченных книг с иллюстрациями художницы Самокиш-Судковской. Книги были сентиментальны и невысокого вкуса, но писательница обладала фантазией и не скупилась на приключения для своих героев и особенно — героинь. Чего-чего не случалось с ними: они и из дому убегали, и на конях скакали, становились и укротительницами диких зверей («Сибирочка»), и сестрами милосердия в холерном бараке («Сестра Марина»), и актрисами, и чуть ли не монахинями («Лесовичка»). Под конец они либо трогательно умирали («Огонек»), либо выходили замуж («Сестра Марина»), либо, чаще всего, благополучно находили своих родителей, от которых были отторгнуты («Сибирочка», «Лесовичка»)… Теперь мы бы посмеялись над всеми этими чувствительными выдумками, но тогда Чарская имела головокружительный успех, и теперь, поняв, как это трудно — добиться успеха, я вовсе не нахожу, что ее успех был незаслуженным. Она выдумывала смело, щедро. Она ставила своих героев в самые невероятные положения, забрасывала в самые неимоверные места, но она хорошо знала все эти места —

и закулисную жизнь цирка, и холерный барак, и швейную мастерскую, и монастырскую школу. Знала и обыденную жизнь с ее нуждой и лишениями. Особенно хорошо знала институтскую жизнь и театральную сцену (так как сама училась в институте, если не ошибаюсь — в Смольном, а потом была актрисой). И хотя ее забыли очень быстро — не будем смотреть на нее с высоты наших сегодняшних представлений, воздадим должное писательнице, покорившей в свой час столько сердец, обладавшей воображением и неутомимостью, на протяжении многих лет выдававшей ежегодно по две новые повести. В год выходило 52 номера «Задушевного слова» для старшего возраста и 52 номера для младшего, и в каждом номере стояло имя Л. Чарской — не так уж часто такое бывает, и это надо уважать, особенно нам, профессионалам, часто ленящимся, часто пугающимся собственного воображения, боящимся обвинения в дурном вкусе, в сочинительстве (как будто мы не сочинители — а кто же мы тогда? писцы? стенографы? фотографы?).

Было еще несколько писательниц, пытавшихся (безуспешно) конкурировать с Чарской. Была В. П. Желиховская, дочь Е. Ган, писательницы прошлого века (эту Е. Ган как-то мимоходом похвалил Писарев), сестра знаменитой Е. Блаватской. Желиховская писала строже Чарской, она описывала свои собственные детство и отрочество, стремясь точностью описаний подражать автору «Багрова-внука», ее книги были почтенны, но не захватывали, как и книги К. В. Лукашевич, которая писала уже «с направлением», как выражались опять-таки в прошлом веке, она сознательно стремилась сеять «разумное, доброе, вечное» в сердцах читателей, и это ей удавалось. Она, как и Чарская, умерла уже после революции, их обеих забыли молниеносно, но почему не вспомнить о них иногда? Пусть их искусство было не очень высоко, а высоко ли наше? Умеем ли мы хотя бы заставить читателя с интересом дочитать нашу книгу до последней строки? А они знали, как это делается.

Позже передо мной раскрылись другие книги: Леонид Андреев, Ростан и Метерлинк, и хотя из них троих я приняла близко к сердцу только Л. Андреева, для меня зазвучали в книгах новые струны, они подготовили меня к принятию Гамсуна и Ибсена, появившихся в моей жизни вслед за тем. Леонида Андреева я полюбила, считаю его большим русским писателем, оригинальным и ярким. Его драматургия великолепна, особенно «Савва», и не от его ли пьесы «Жизнь человека» пошел итальянский неореализм? И как должны мы быть богаты, как самонадеянны в своем богатстве, если порой забываем таких писателей, как Андреев.

Вероятно, уже в те времена во мне зрело тяготение к драматургии, так как пьесы Андреева и Ибсена я читала взахлеб и очень ими волновалась. Позже прочту «Что такое искусство» Л. Толстого, многое переоценю, во многом разочаруюсь, но тогда меня приводили в пламенный восторг и «Строитель Сольнес», и «Гедда Габлер», и «Анатэма», и «Жизнь человека», и «Царь-Голод».

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Вначале было слово

— Слово, слово надо искать, — сказал однажды на редакционном совещании Михаил Вострогин, он же Володя Филов, он же — Мишка Гордиенко и Вадим Железный «Сентиментального романа».

Я даже помню, как мы сидели за тем некрашеным, вроде кухонного, столом — наш шеф Соболь на своем шефском месте, я — напротив, Вострогин налево от Соболя, Владимир Ставский — направо.

— Пишем, пишем, а слова все дохлые, — продолжал Вострогин, — даже имя боимся выдумать человеку, все мальчишки у нас — Ваньки, все старые рабочие — Савельичи. Дом слагается из кирпичей, писание — из слов. Трухлявый кирпич положь — дом завалится.

Он так и сказал — «положь», а не «положи», и с тех пор я люблю это слово, мне нравится, что в Ленинграде говорят — «положил», «положила», припоминаю, что моя няня Марья Алексеевна говорила: «церковь Ризположенья», а не «Ризположенья», и вообще — насколько вкуснее, полнокровней, почвенней зачастую звучит по-старинному и попросту сказанное слово.

Я не согласна с тем, что надо говорить и писать обязательно по принятым канонам. И старинный оборот, и «областное» слово, и кстати употребленное речение из языка другого народа (в том числе из языков наших братских республик) — все они могут украсить и обогатить язык современной литературы.

— Я в моем деле специалист, меня куда хочешь возьмут с рукам и с ногам, — сказала одна женщина, и этот дательный падеж вместо творительного внезапно освежил, обновил затасканный словесный оборот.

Нет языка правильного и неправильного, литературного и нелитературного, есть крепкий и трухлявый, свежий и заплесневелый.

И всю-то жизнь ищем слова, ищем рядом с собою и в седой старине, и за дальними рубежами, и в толпе — везде, где оно может вдруг блеснуть нужное, живое слово.

СТАРОЧЕРКАССКАЯ

Места Степана Разина

Редактор «Трудового Дона» Виктор Филов задумал свезти своих сотрудников в станицу Старочеркасскую. Человек он был хозяйственный: для экскурсии был приготовлен пароход и сверхъестественное количество бутербродов.

Я тогда в первый раз видела станицу, и, помню, больше всего меня поразили связки лука и красного перца, навешанные над всеми дверьми. Я думала: кто же это может съесть столько перца? Мерещилось какое-то богатырское племя, запросто поглощающее жгучий перец и лук — целыми гирляндами.

А потом нам показали прекрасный старинный собор барокко с колокольней точно такой, в какой, по моему понятию, могли бы разговаривать Время, Смерть и Царь-Голод в пьесе Леонида Андреева, а в подземельях собора показали цепи, на которых когда-то томился Степан Разин, прикованный к прозеленевшему, промерзлому камню.

Я тронула этот камень и ощутила себя наследницей чего-то, чего тогда не сумела бы назвать, — леденящее дыхание Истории ощутила кожей и связь времен.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Уличные фотографы

Местом своей деятельности они выбрали узенькую, изогнутую скобой улицу, одну из тех, что соединяли собственно Ростов с его пригородом Темерником. На Темернике находилось одно из крупнейших ростовских предприятий — паровозоремонтные мастерские, а вокруг этих мастерских жило много рабочих, и клиентуры у уличных фотографов хватало. Уверенно расставили они свои железные треножники на кривоватой улочке и позади треножников на заборах и стенах домов развесили свои рекламы, иногда смешные, иногда трогательные, но всегда доходчивые до людского сердца, ибо они

не были ремесленниками, эти уличные фотографы старого Ростова, они были жрецами своего искусства и знатоками тех душ, что обитали вокруг них.

Человек идет рано утром в мастерские. Работает ли он литейщиком на вагранке, или «глухарем» на клепке котлов, или токарем в шумном цехе с немытой от времени Александра Второго стеклянной кровлей — труд этого человека беспросветно однообразен и тяжел. Что человеку из того, что, постояв перед треножником, он получит от фотографа свой портрет столько-то на столько-то сантиметров, с теми самыми носом, ртом и прической, которые он привык видеть в своем зеленоватом кривоватом зеркальце, когда по утрам перед работой присаживается побриться, либо вечером, после работы, собирается в гости, одевшись по этому случаю в черную тройку и приличный галстук?

Что за радость этому человеку увековечиться в столь обыденном и безотрадно привычном своем виде? Подайте ему его прическу, скромные усики и лацканы пиджака в новом каком-нибудь, в невероятном каком-нибудь, в, черт побери, осиянном каком-нибудь виде, чтоб он сам себе удивился и все бы удивились и поверили в его осиянность!

Уличные фотографы, великие психологи, не только понимали это, они твердо знали, что именно надо делать. Надо купить на барахолке у какого-нибудь прожившегося кавказского человека бешмет с газырями и повесить на заборе позади своего треножника. Рядом с бешметом можно повесить роскошную картину, изображающую снежные вершины гор, либо фонтан, либо пальму, у подножья которой, охватив колени соблазнительными руками в запястьях, сидит красавица с длинным, чуть не до ушей, разрезом глаз и с лучеобразными ресницами. Такую картину за небольшую плату напишет свой же брат, темерницкий художник, тоже выросший в этих же местах и понимающий что к чему.

А можно и с картиной не затеваться, и бешмета не покупать, а заказать картонного либо деревянного коня, вороного или в яблоках, и на том коне полвсадника, чтоб были у всадника руки-ноги, корпус и шея, только головы не было бы.

Такие-то картины, одеяния и кони с безголовыми всадниками висели на темерницкой улице позади треножников уличных фотографов. Приходил заказчик в скромном галстуке и скромной прическе, вольно осматривался и выбирал, что ему наиболее по душе. И увековечивался: то в виде лихого наездника с саблей в руке, на коне в яблоках — для этого достаточно было приставить голову к шее картонного полувсадника и взять игрушечную

саблю, — то в виде воинственного горца, осанисто стоящего возле красавицы со звездными очами.

А однажды я видела, как темерницкий извозчик, оставив свою пролетку и воссев в своей извозчицкой робе на колченогой табуретке, снимался на фоне пальмовой рощи… Была зима, снег лежал на улице, снежные колпачки возвышались на столбиках забора — что за дело было извозчику до этой скучной реальности, он упирался спиной в ствол пальмы, он слышал рокот теплых морей, его толстый синий, на вате, тулуп обернулся для него, несомненно, белоснежным бурнусом, и таким он себя отныне будет представлять, стоит ему взглянуть на фотографию; и таким он велит себя представлять и жене своей, пропахшей постными пирогами, и детям, и внукам.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Чахотка

Сейчас об этой болезни почти что не слыхать, и зовут ее иначе туберкулез легких, в детстве же моем она была заурядным недугом, то и дело было слышно: «у нее чахотка», «у него нашли чахотку». Чахоточные были среди бедных и среди богатых, для чахоточных строились санатории не только в курортных местах — Сочи, Алупке, Нальчике, но даже в самом Ростове; был в том числе ночной санаторий, в котором проводили ночные часы рабочие вредных производств.

На моих глазах чахотка глодала (и сглодала) молодого человека, сына нашего домовладельца.

Из месяца в месяц я видела, как этот цветущий молодой человек — в плечах косая сажень — все более заплетающейся походкой проходит по двору, как жалостно он задыхается, стоит ему сделать ничтожное усилие — закрыть ставни или сорвать горсть черешен. Как бледнеют и желтеют его щеки, как проступает череп сквозь лицо.

— У него чахотка, — сказали мне.

Иногда он исчезал куда-то, переставал показываться во дворе.

— Его увезли в Нальчик, — говорили мне. — Совсем ему плохо.

— Еще ему хуже, — сказали потом.

— Слава богу, отмучился, — еще потом…

Вплели в косы новые ленты и повели в церковь, и там он ждал, отмучившийся, уложенный в белый гроб, странно желтело лицо с резко проступающими костями, под желтые руки был

подложен образ.

И вот ведь — не родной, даже не хорошо знакомый, просто какой-то чужой человек, иногда проходивший через двор, — откуда же у живого перед мертвым это чувство растерянности, почти вины, откуда и зачем оно, чувство вины за то, что вот — стою, когда ты лежишь, за новые ленты в косах, за то, что вот — живу, когда ты умер, чужой человек, иногда проходивший по двору?

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Кликуши

Рано-рано, когда мы, дети, еще спали, начинались приготовления.

Складывали ломберный стол и выносили из столовой. Даже сложенный, он с трудом протискивался в узенькую калитку, и бабушка прикрикивала:

— Осторожно, поцарапаете!

Наконец столик переселялся на улицу, на нашу Первую линию, и устанавливался у ворот. И куда, бывало, ни взгляни вдоль Первой линии вверх ли к Соборной или вниз к Дону, у всех ворот стояли столики, накрытые белыми скатертями. На столиках — иконы и чаши для водосвятия.

Звонили колокола.

На нашем столике ставилась полоскательная чашка с чистой водой и образ с маминым венчальными свечами, обвитыми бумажной золотой ленточкой.

В тот день — не помню, какого числа и месяца, — по городу проносили чудотворную икону Аксайской божьей матери.

Недавно я узнала, что такой чудотворной иконы в официозных церковных списках будто бы и нет. Есть Донская, очень старинная. Может быть, то и была Донская, в свое время по каким-то соображениям установленная в церковке при плужном заводе «Аксай».

Во всяком случае, в городе ее чтили и встречали торжественно.

Мама, бабушка и няня терпеливо стояли возле ломберного столика, ожидая.

Детям тоже разрешалось ждать, но играть запрещали.

На улице было пыльно и жарко.

Как всегда в подобных случаях, больше всего хотелось играть.

Между булыжниками мостовой был насыпан серо-желтый

засохший цвет акации.

Белые ее гроздья свешивались с деревьев.

Уставая ждать, мы поглядывали вдоль улицы.

И вот наконец вдали начинали покачиваться разноцветные хоругви, поблескивая на солнце золотом и серебром.

Показывалась голова процессии: жесткие парчовые ризы, седые бороды, кресты, поднятые над головами.

«Матушка!» — говорила няня, крестясь.

«Матушку», темноликую и страшноглазую, несли двое седобородых в мирском платье. Должно быть, церковные старосты или другие кто в этом роде.

Священники отделялись от процессии, подходили к столикам, выставленным у ворот. Служили молебен, святили воду.

И в нашу полоскательницу погружался серебряный крест, и мама торопливо клала на столик горстку серебряных монет.

Ризы и хоругви проплывали по направлению к Соборной, проплывала и чудотворная икона, и за ней начинал тянуться длинный людской поток: сначала мужчины в страшных лохмотьях, изуродованные и искалеченные — такие всегда сидели на паперти нашей Софийской церкви; я хорошо знала эти сведенные руки и ноги и безносые лица. За мужчинами шли женщины. Их было особенно много: сперва — старухи нищенки в рубище, потом молодые, многие принаряженные по случаю праздника: та — вся в розовом, другая — вся в голубом, на нашей окраине это считалось очень шикарным. У кого не хватало денег на такой шик, та украшала себя газовым шарфом либо брошкой с поддельными камушками, либо наряжалась в украинский костюм со множеством бус и лент.

Они проходили, а мы смотрели на них. И вдруг они начинали лаять.

Да, ни на что другое, как на лай, были похожи эти ужасные звуки, оглашавшие тихую Первую линию. Лай с подвизгиваньем и подвываньем, ужасный, идущий из каких-то животных глубин, такой же непонятный, как звуки, издаваемые нашей Каштанкой, когда она начинала бесноваться от лунного света.

Это случалось при каждом крестном ходе. И каждый раз я спрашивала, не удержавшись:

— Что это? Кто?

— Да ведь уж знаешь, — резонно отвечала няня. — Всё они, кликуши.

— Это такие больные, — уточняла начитанная бабушка.

— Бесы в них засели, — говорила няня. — Читала ведь в Новом Завете, как бесы входят в людей.

— Тоже и притворства здесь много, — говорила мама.

Но бабушка возражала:

— Нет, это болезнь. Вроде истерики.

— Их лечат? — спрашивала я.

— Их Матушка исцеляет, — говорила няня. — Вот они и идут за Матушкой.

Мы разговаривали, а они все лаяли.

Лаяли одетые в рубище. Лаяли одетые в голубое и розовое. Вечная степная пыль ложилась равно на лохмотья и на старательно выглаженные светлые платья. Равно безумен был лай старых и лай молодых.

Сердце девочки истекало ужасом.

А перед выкликающими женщинами плыла чудотворная в цепких руках двух стариков.

Наконец все исчезло в раскрытой огненной пасти дня: сперва исчезали подъятые горе кресты, потом парчовые ризы, потом икона, наконец — лающие женщины. Еще досматривалось вдали что-то розовое и голубое. Потом скрывалось и оно, и ужасный лай больше не доходил до наших ушей.

Оставался столик, около которого мы стояли, да белые гроздья акаций над нашими головами, да бутылочка, в которую няня перелила воду из полоскательницы, да солнце на серых плитах тротуара, да горсточка кремушков, с которыми теперь уже можно поиграть, — оставался золотой тихий сон моего детства.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Кузьминична, семечница

Семечки подсолнуха не чисто черные, они имеют сероватый отлив, как грифельная доска. В дни моего детства весь Ростов грыз семечки, их грызли взрослые и дети, торговцы и покупатели, городовые и барышни, идущие с ракетками в руках на теннисную площадку. Всюду раздавалось щелканье семечек, на всех губах была налипшая подсолнечная шелуха, она же была насыпана на всех крылечках, во всех дворах, на всех мостовых между булыжниками.

На всех перекрестках сидели торговки-семечницы, в том числе у нас на углу Соборной улицы и Первой линии сидела некая Кузьминична, приятельница нашей няни Марии Алексеевны.

Кузьминична сидела на низенькой скамеечке, под широкой тенью акации. У ног Кузьминичны была большая корзина, почти

до краев наполненная грифельно-черными семечками. Поверх семечек стоял маленький граненый стаканчик — мерка. Такой стакан семечек стоил одну копейку. На семечки, на ситцевый подол Кузьминичны, на нищенскую ее торговлю акация сбрасывала свои засохшие цветки.

Няню нашу, Марию Алексеевну, Кузьминична очень уважала и нередко задаром угощала ее семечками, черпая их из корзины щедрой рукой. Рука была почти такого же цвета, как семечки, с иссиня-беловатыми ногтями и черной каемкой у края ногтя. Такие же руки были у няни, и как-то очень рано я стала понимать, что этих двух старых женщин сдружила именно эта одинаковость их рук, выражавшая одинаковую тягость их неприхотливой и нерадостной судьбы. Как я это поняла — не знаю; но поняла.

Обе были вдовы, у обеих покойные мужья были пьяницы и драчуны, а дети как-то неудачны и, выражаясь по-нынешнему, бесперспективны, и обо всех этих невеселых обстоятельствах старухи не уставали судачить у корзины с семечками, а мы, дети, как ни странно, не уставали слушать.

После неприятностей и неудач любимой темой их бесед было царствие небесное, они о нем все знали и очень туда стремились, надеясь найти там награду и утешение. Такой постоянной готовности к смерти я потом никогда не встречала. Они не только вечно лишали себя пищи, пользуясь всеми постами, не только вечно спешили в церковь к обедне или ко всенощной, но даже приготовили себе погребальные наряды — белые кофты, белые платочки, белые чулки и туфли. Все это было бедное и дешевое, но все же: сколько стаканчиков семечек надо было продать, чтоб скопить деньжат на вышивку для кофты, на атласные ленточки к туфлям…

Последний раз я видела Кузьминичну из окна, возле которого я сидела с книгой. Вся согнувшись под тяжестью огромного мешка, прошла она по нашей Первой линии по направлению к Соборной, к своему углу.

— Что-то понесла Кузьминична в мешке, — сообщила я няне.

— А известно что, — сказала няня. — Семечки. Так под ними и падет, помрет, бедняга.

Я не знаю, как умерла Кузьминична. Вскоре после революции семечниц на улицах стало меньше. Настолько меньше, что непонятно, откуда же население брало семечки, чтобы лузгать. Потому что лузгать стали, как ни странно, не меньше, а больше.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Лодки и гармошки

В дни моего детства на правом, городском берегу Дона в определенных, всему Ростову известных местах лежали килем вверх лодки, сдававшиеся напрокат. На них были написаны разные имена: «Нюра», «Леля», «Тамара», «Жора», «Женя». Было даже имя «Люлю», взятое из популярного романса, и вообще тщательно перебраны все святцы. К каждой лодке прилагались весла. Тут же поблизости можно было взять напрокат гармошку, если не имелось своей собственной. Потому что кататься по Дону без гармошки, особенно в воскресный день, считалось не только не шикарным, это был признак неустроенности, бедности, у многих это считалось почти унижением своего достоинства.

Итак, воскресный день, блещущий Дон покрыт веселыми треугольными парусами яхт, иногда проходит, заставляя яхты уступать себе дорогу, весело пенящий воду пароход, но всего больше на реке легких лодок, взлетающих весел и вперехлест звучащих гармошек, наяривающих тогдашние чувствительные уличные песни.

ЕЙСК

Сады

Я приехала в Ейск в 1928 году на тамошние целебные грязи и поселилась в дачной местности, называвшейся Сады, в домике крохотной веселой старушки гречанки Вазео. Это были не просто дачи, но именно сплошные плодовые сады, под ветвями которых тут и там стояли маленькие домики.

Должно быть, это было прекрасно весной, когда сады цвели. Я приехала в июле, когда уже созрели абрикосы, это тоже было хорошо. Все деревья огромного сада были усажены ярко-желтыми, с подрумяненным бочком, спелыми плодами.

Ветер качал деревья, по утрам желтыми плодами с подрумяненным бочком были усыпаны трава и дорожки. Надо было подбирать плоды и складывать в высокие корзины, расставленные на дорожках. Из Ейска приезжали скупщики, на подводах увозили эти корзины. Когда корзины переносили на подводы, сквозь сплетение прутьев донышка на землю бежал золотой сок.

Сады стлались до самого лимана. Бледно-голубой, он стелился под солнцем серебристо и шелково. Мелкая волна

набегала на песок, иногда вынося маленькую рыбку. Ступишь, бывало, в эту волну — уколет холодом. Снулые рыбки были раскиданы по берегу вперемежку с абрикосовыми косточками.

НЕВИННОМЫССКАЯ

Подсолнухи

Впервые я разглядела их как следует в станице Невинномысской, куда меня послала в командировку уж не помню какая газета — не то «Ленинские внучата», не то «Советский пахарь». Был час заката, солнце стояло на западе, я шла по полю подсолнухов лицом к востоку, а подсолнухи, все как один, были повернуты к западу — словно мне навстречу двигалась огромная несокрушимая рать с одинаковыми черными ликами, окруженными золотыми нимбами. Не было ни малейшей возможности ни повернуть вспять это грозное войско, ни лишить его святости его сияния, ни противостоять ему.

АРМАВИР

Душно было неимоверно

В Армавире должны были судить кулаков, покушавшихся на убийство селькора Акулины Брилевой. Редакция «Советского пахаря» командировала меня на этот процесс.

Я написала о нем отчет для газеты, написала брошюру (она вышла в Ростове в 1929 или 1930 году), какие-то черты этой истории вошли в «Сентиментальный роман», в историю Марии Петриченко, но самое главное ощущение от этого процесса еще нигде не описано. Это было ощущение непереносимой духоты, разлитой во всем — в воздухе зала суда, в произносившихся там речах, в подробностях покушения, даже в одежде людей в тулупах, тяжко пахнувших овчиной, в платках, туго обмотанных вокруг женских голов, в сапогах, словно высеченных из камня или отлитых из чугуна.

Ни одна форточка не была открыта, и все же казалось, что степной летний зной вливается в зал и затопляет всех, кто в нем собрался, и что облегчить этот зной не сможет даже хорошая степная гроза с ее громовым ливнем.

В Брилеву стреляли из обреза, она была опасно ранена в

живот, но так велика была в ней сила жизни, что она, орошая своей кровью степные сугробы, в жестокий мороз и вьюгу доползла до своего хутора, до своей хаты и осталась жить. Эта богатырская сопротивляемость была заключена в самой простенькой, какую можно себе представить, степной женщине с самым обыкновенным бабьим лицом, по которому текли слезы, когда она отвечала на вопросы суда.

У нее было непоколебимое убеждение, что революция совершилась для нее и таких же неимущих, как она, и она старалась оттеснить имущих отовсюду, куда они проникали. Своими заметками она засыпала газеты, краевые и центральные, ее борьба была неуемна и безгранична, как степные просторы Кубани, за это-то и стреляли в нее из обреза, жестокого оружия степных боев. И потому-то столько людей из кубанских станиц и хуторов съехались на этот процесс, и смотрели и слушали они так, словно на этом суде решалась не судьба нескольких кулаков и подкулачников, а судьба всей кубанской степи, зной которой они принесли в складках своей одежды, хлебом и салом которой они время от времени закусывали, доставая их из-за смушковых отворотов тулупов.

Смушки были те, о каких писал Гоголь: «Бархат! Серебро! Огонь!» Степь была та, о которой сказал Чехов: «воткни оглоблю, вырастет тарантас». Кому она будет принадлежать со своими грозами, со своей пшеницей, салом и смушками, кому она будет принадлежать, щедродящая, Акулине Брилевой или ее врагам, — такой решался вопрос на том армавирском суде, потому текли такие большие слезы по мягким щекам Акулины, потому так напряженно-душно было в зале.

СОРОЧИНЦЫ

Ярмарка, та самая

Да, я побывала на Сорочинской ярмарке, той, которую Гоголь выбрал фоном для своей повести. Мы шли из Шишак в Сорочинцы пешком, сначала по широкой пыльной улице, потом улица перешла в такой же широкий и пыльный шлях, над шляхом было неоглядное небо, пышными грудами в нем плыли облака. На пыли оставались отпечатки наших ног. Может быть, и отзвук наших голосов остался там в воздухе. Ведь та тишина отнюдь не была мертвой, она звенела птичьим гомоном и постукиванием сухих головок бессмертника друг о дружку, и сквозь легкие эти звуки нет-нет да прорывался откуда-то человеческий голос — не

голос ли того, кто прошел перед нами по этому шляху…

Мы перешли через какую-то канавку по деревянному мостику с выгнутыми перильцами, и перед нами на зеленом лугу запестрела, заиграла ярмарка. Прежде всего бросилась в глаза огромная свинья, розово-белая гора сала и мяса, это так и должно было быть, подумалось мне, недаром свинья играет такую большую роль в гоголевских повестях. За свиньей тянулись скамьи, уставленные гончарными изделиями, дивной красоты горшочками и глечиками (кувшинчиками), покрытыми росписью. Тот горшочек был расписан травами, тот — цветами, тот — козлиными мордами. Были горшочки совсем крохотные детские игрушки, были высокие статные кувшины, были громадные квашни, в которых можно было заквасить тесто на пять пудов печеного хлеба.

И мука продавалась тут же, ее продавали в мешках и в «рукавчиках». Отпоротый от рубашки рукав был там общепринятой мерой, столько-то стоил «рукавчик» пшеничной муки, столько-то — «рукавчик» ржаной.

Женщины продавали свои изделия — вышитые скатерти, сорочки, полотенца, тканые шерстяные пояса, кошели, ковровые дорожки. Нынче лучшие из этих изделий идут на экспорт, а тогда все это можно было купить на Сорочинской ярмарке.

Луг был заполнен веселой нарядной толпой. Сколько тут топталось зеркально начищенных сапог, отражавших солнце. Сколько было плахт, одна пестрей другой, — в те времена тамошние женщины еще носили плахты. Правда, самые богатые плахты были уже у старух, молодые довольствовались тем, что досталось в наследство от бабок и прабабок; ткать плахты еще умели, но секрет изготовления долговечных красок из трав был уже утерян, не знаю, отыскан ли ныне снова… А что это были за краски, помнят, вероятно, все, кто хоть чуть-чуть, подобно мне, соприкоснулся со старой Украиной. Эти краски не линяли и не выгорали, и вытканным из овечьей шерсти — «волны» плахтам не было износу, как лучшим персидским коврам.

В такие-то богатые плахты были одеты женщины на ярмарке, и я почувствовала себя золушкой в своем городском платьишке, без роскошных сапог, без связки бус на шее.

В первый раз мне открылась прелесть традиционной деревенской одежды, украшающей и возвеличивающей человека. Впоследствии, когда я писала мою «Ольгу», одной из первых моих забот было одеть ее соответственно ее положению и значению, и мне приятно вспомнить, сколько поисков я предприняла для этого. Сколько пришлось фантазировать, переиначивать, додумывать. Красная и зеленая тесьма на суконном платье

маленькой Ольги это, безусловно, воспоминание о плахтах, виденных на Сорочинской ярмарке летом 1931 года. Мне жалко, что сейчас там носят мини-юбки и туфли на каблуках-шпильках. Хотя я и понимаю, что иначе и быть не может, что все меняется и должно меняться…

Еще забыла написать, что в центре того луга сидел на деревянном чурбашке гармонист с пышным, как кудель, чубом из-под картуза. Чернобровый и кареглазый, он был одет великолепней всех, ни у кого не было так богато вышитой рубахи и такого пунцового пояса. Он перебирал пальцами и разводил руками, извлекая из своей гармонии то развеселые, то надрывные звуки, — и видно было, что это душа ярмарки, ее поющий и ликующий дух, вечно юный голос щирой Украины, самый желанный жених для девчат всей округи.

ШИШАКИ

Из чего слагалась левада

Это был заливной луг, обильно увлажнявшийся в половодье; весной, уже в мае, трава здесь стояла выше пояса, и головенки детишек мелькали среди красного клевера и ромашки. Через леваду мы ходили на Псёл, это нашими ногами в траве была протоптана длинная узкая тропинка. Мы шли по ней гуськом среди кивающих трав, впереди сверкал Псел, над головой стояли в синеве пышные горделивые облака, синие и зеленые стрекозы перелетали с травинки на травинку; пчела выползала из цветочной чашечки, неся комочки пыльцы на ножках. Где-то посреди левады рос дикий терновник. Когда кончалась вишня, мы срывали с колючих кустов терпкие сочные ягоды, вареники с этими ягодами были не хуже вишневых. Говорили, будто возле этих кустов аисты собираются на свои совещания, будто здесь они вершат суд над провинившимися молодыми аистами, и будто бы подсудимый стоит тихий и покорный перед полукружием старых аистов и ждет приговора, — так рассказывали многие, но самой мне видеть такое не довелось, не могу утверждать, что это истина.

Выходя этой тропинкой на берег Псла, мы садились на теплый песок, и я читала детям вслух. Тут мы прочли «Думу про Опанаса» Багрицкого, и когда читали:

Тополей седая стая,
Воздух тополиный,

Украина, мать родная,
Песня — Украина,

то перед нами тут и там вздымались тополя, и все кругом было — песня, и хоть мы родились в другой республике, но Украина была нам — мать родная.

Неподалеку от терновых кустов стояло старое дерево, — не то верба, не то ива с очень толстым стволом. В стволе было дупло, в дупле жили удоды. Время от времени из дупла смотрела крохотная головка с длинненьким клювом и коричневым хохолком. Но стоило где-нибудь треснуть сучку либо сильно зашуршать траве, и удоденок мгновенно проваливался в свое гнездо; ни возни, ни шороха не слыхать было в дупле.

Шел, шел тропинкой среди трав, и вдруг ноге становилось прохладно и влажно — это она ступила на смолянисто-черную плотную грязь, окружавшую криницу. Если нагнуться над криницей, глубоко внизу виделось как бы зеркало и в нем — отражение человеческого лица. Говорили, будто вода в кринице особенно чистая и полезная — не знаю, но на вкус она была хороша, и приятна ноге была окружавшая криницу грязь, и чем-то умилительно чистое зеркальце на дне.

Из этой тропинки, из дупла и криницы слагалась для меня левада, и как ее забуду, и когда и где ее опишу? Ан нет, гляди-ка, вот и не заметила, как описала.

ШИШАКИ

Дымы Березівки

Березівка была — широкая улица, шедшая от центра села к самому Пслу. По сторонам улицы тянулись высохшие серые плетни, кое-где подернутые сизо-зеленой плесенью, за плетнями стояли беленые хаты под соломенными крышами (редко под черепичными, еще реже — под железными). На соломенных кое-где ярко зеленел мох. Но над всеми крышами во всякое время, как неослабевающее живое дыхание, упругими клубами возносился дым.

Розоватый на рассвете, ярко-розовый при восходе солнца, к вечеру он начинал голубеть, потом будто заштриховывался карандашом, — по цвету его, навыкнув, можно бы распознавать время, как по часам.

Он нес к небесам ароматы свежевыпеченного хлеба, жар чугунов, полных огнедышащего борща, заправленного салом и чесноком, и топленого молока, и мелко изрубленной картошки, предназначенной на корм скотине; он нес теплоту и упругость человеческой жизни, которая идет и идет, невзирая ни на что, свято оберегая свои стены, и крыши, и печи, и кушанья, в труде и борьбе отстаивая розовую свою теплоту.

Где это я стою? Я стою на Березівке, в том ее конце, где, сбежав с горки, она почти упирается в двор Романовских. Отсюда, с этой точки, Березівка представляется широкой аллеей, аллеей розовых дымов.

Я понимаю, почему в древности брали подать «с дыма», дым над трубой это знак достатка, это — имение, это — жизнь.

ШИШАКИ

Цветок тыквы

Он распустился на длинном некрасивом стебле, перекинувшемся, как плеть, через длинную некрасивую гряду в глубину огорода, туда, где огород упирался в обомшелый серый плетень. Он даже не распустился, этот цветок, он вспыхнул, как оранжевый огонь, вместе с длинным стеблем он перебрался на плетень и горел там, грозя пожаром и испепелением, горел, и отгорел, и на его месте осталась зеленая полосатая бутылочка плода. И такая радость была для меня в этой незатейливой маленькой тыковке, словно я сама ее придумала и сама этот замысел привела в исполнение.

ПЕРМЬ

Как пекли картошку

Пекли ее в редакционной печке в кабинете ответственного секретаря редакции газеты «Сталинская путевка» Антонины Георгиевны Киян.

Происходило это в военные годы, обычно в сумерки, когда голубели редакционные окна и съеденный в средине дня обед становился далеким туманным воспоминанием. Печеная картошка — это был наш ужин.

Мы, сотрудники редакции, по очереди приносили картошку

— собственную: у каждого имелась за городом хоть маленькая делянка, засаженная картофелем. Лучшая картошка была у художника Бориса Андреева — непонятно почему: он сам сознавался, что ни разу не полол ее и не окучивал и вообще не понимает, как она у него выросла, да еще такая крупная и чистая.

Итак, когда голубели окна, мы собирались в кабинете Антонины Георгиевны и топили печку. Пока дрова разгорались, пока они сгорали, мы сидели, томимые нетерпением, и рассказывали истории, кто какие знал. Когда кучка золотого жара оставалась на месте сгоревших дров, мы закладывали картошку в печное жерло. Еще надо было ждать, пока она испечется, пока ее сочная светло-коричневая кожица станет угольно-черной, тогда мы руками ее вытаскивали из угольев — руки при этом становились черными — и отряжали кого-нибудь к уборщице Андреевне за солью, и посланец возвращался с кулечком темно-серой крупной соли (своей у нас не было, соль ведь не вырастишь на делянке).

И верите ли: никогда ничего на свете не было вкусней, чем эта черная как сажа картошка с серой солью, — никогда никаких деликатесов не было вкусней…

ПЕРМЬ

Мороженое как знак возрождения

О том, что скоро опять начнут продавать мороженое, в Перми заговорили задолго до того, как это произошло. Почему этот суровый морозный город так любил мороженое, не знаю; но была свидетельницей незабываемой сцены.

Трамвайчик, в котором я приехала со стороны Сталинского завода, был покрыт снежной крышей, окна обледенели: мороз был сорокаградусный. Заиндевел камень домов, у прохожих изо рта клубились облака. Неподалеку от редакции областной газеты «Звезда» стояла женщина в белой куртке поверх стеганого ватника, к животу она прижимала короб, на коробе было написано «Мороженое».

Постовой милиционер на перекрестке мелко перебирал ногами, будто собирался пуститься в бег, — видать, промерз здорово. Посеменив ногами в новеньких блестящих сапогах, он покинул свой пост и твердо зашагал к женщине с коробом. О чем-то спросил ее, выпустив изо рта облако, что-то она ответила, выпустив встречное облако.

И вот он стоял перед нею на сорокаградусном морозе, бодро

откусывая кусочки от ледяного бруска, по временам все еще перебирая ногами, потому что сорок градусов ниже нуля — не шуточки, а сапоги-то кирзовые, а мороженое, поди, заморожено на совесть; он стоял и ел мороженое, а за ним уже выстраивалась очередь из отважных пермяков, любящих мороженое, и все это было знаком возрождения, знаком, что война в самом деле близится к концу, раз уж снова продают любезное лакомство — мороженое, отнятое войной в числе другого прочего. Раз уж снова появился в вольной продаже такой доступный товар — не надо пятирублевок, не надо трешек — побренчал мелочью в кармане, заплатил безделицу и наслаждайся себе на здоровье, стоя на сорокаградусном морозе под свинцовым ветром, несущимся с ледяной Камы.

ЛЕНИНГРАД

Борис и Глеб

Когда шведы пошли крестовым походом на Русь, в те времена одному ижорскому жителю приснился сон. Этот житель был крещеный, наречен христианским именем — Филипп, а до крещения звался Пелгусием. Кругом него еще были язычники, приносили жертвы роду и роженицам, болоту и колодцу. Крещеного Пелгусия-Филиппа князь новгородский Александр поставил над язычниками старшиной, сторожить ту землю от врагов.

И вот когда узнал Пелгусий, что шведские корабли показались в устье Ижоры, тут было ему сновидение. Будто в насаде, в сиянии приплыли к берегу святые мученики Борис и Глеб, и Борис Глебу сказал:

— Брат Глеб! Поможем сроднику нашему великому князю Александру Ярославичу!

Пелгусий запряг коня и поскакал через леса и болота к Александру Ярославичу и рассказал о вражьих кораблях и о своем видении.

О видении, говорила летопись, Александр Ярославич не велел больше никому рассказывать, взял свою дружину — Мишу, да Савву, да Ратмира, да Полочанина Якова, да Сбыслава Якуновича с Гаврилой Олексичем, да еще кто там был у него — и двинулся на неприятеля, не дожидаясь, пока стекутся полки.

Был побит неприятель на водах и на суше, потоплены его корабли, посечены его шатры, полегли на поле боя и шведский воевода, и крыжак-епископ, пришедший перекрещивать Русь в

римскую веру, и свирепые рыцари в железных доспехах. У иных поверх железа были надеты черные плащи с белыми крестами, у иных — белые плащи с черными крестами, у иных же на белых плащах кресты были алые, как бы наведенные кровью.

Они к нам шли, думая: татары их примучили с востока, а мы примучим с запада. Но полегли, не вернулись.

Это произошло на берегах Невы, оттого Александру дано прозвание Невский. Победа одержана 15 июля 1240 года. Князю Александру Ярославичу было 20 лет.

На выставке Рериха-отца в Ленинграде была небольшая картина «Борис и Глеб». Художник изобразил сновидение Пелгусия-Филиппа, человека Ижоры.

Сумерки изображены там, русские сумерки над русским озером, лиловая русалочья гладь. Справа, туда-туда за водной гладью, в сонной сини густеет вечер, темнеет маковка бедной церкви. Горькое безлюдье, земля-полонянка крыжаки с запада, татарва с востока.

На переднем плане картины — насад, небольшое гребное судно, в насаде — Борис и Глеб. Оба узкоплечие, узколицые, с узкими молодыми бородками, — совсем ведь юными пали под ножами убийц. Пестренькими мурмолками прикрыты волосы. От ликов исходит розово-золотое сияние и ложится на небо и на воду, достигая темного берега.

Кто чем славен? Кто чем вошел в историю?

Александр Невский — своими военными победами и своей дипломатией. Его дружинники — богатырскими подвигами. Миша, к примеру, с небольшим отрядом пеший ударил на причалившие корабли шведов и принудил их сдаться. Борис и Глеб прославились тем, что их убили безвинно, перерезали, как курчат. Их брат Святополк, подославший убийц, остался в истории по причине своего душегубства, ему тоже прозвание дано — Окаянный.

А Пелгусий-Филипп остался в людской памяти потому, что ему приснился сон. Это — очень хорошая, милая слава. И смотрите-ка, через множество лет пришел художник, Рерих-отец, и красками на холсте изобразил сон далекого человека Пелгусия. Все изобразил — и простор воды и небес, и церковную маковку, и даже, может быть, в своем творческом видении досмотрел то, чего и не видел Пелгусий — юношескую хрупкость лиц Бориса и Глеба, всепроникновение исходящего от них сияния, эти мурмолки, похожие на тюбетеечки…

Картина написана на негрунтованном холсте. Когда смотришь вблизи нити холста отчетливо проступают сквозь мазки краски. И тогда кажется, будто картина и не писана, будто не

касалась ее кисть, будто она — тоже сновидение, дуновение вдохновенных уст: дунь — и улетит.

Ленинград

Шура, Маня и Аня

Время действия — зима 1952–1953 года. Место действия — Городской суд на Фонтанке.

Шура и Маня — на скамье подсудимых. Шура — женщина лет тридцати двух, полногрудая, подчеркнуто принаряженная, словно желающая всем своим видом сказать: да, вот шла сюда сидеть здесь перед вами, а все-таки позаботилась о том, чтобы выглядеть хорошо, плевала я на вас!.. На ней подчеркнуто узкая юбка и подчеркнуто облегающий свитер. Особенно бросаются в глаза ее волосы, пушистые, промытые до сияния, причесанные у парикмахера. Невольно приходят в голову дурацкие вопросы: ходила ли она под конвоем в парикмахерскую или парикмахер приходил к ней в камеру? и тот ли самый это парикмахер, который причесывал ее, когда она ходила вольная, или другой?..

Есть в этом широком, очень здоровом, вызывающем лице что-то неприятное, но в то же время импонирующее — именно этим здоровьем, этим вызовом, этим «плевала я на вас на всех…».

Маня, сидящая рядом, совсем другая: совсем молоденькая, на вид не дашь больше двадцати лет, хотя на самом деле ей больше. Узенькие плечи, узкое бледное лицо, тонкий прямой пробор в русых волосах. Тихость и домашность во всем ее облике, и не верится, чтобы она сделала то, что сделала, и дико, что возле этой женщины стоит часовой, что отсюда ее дорога — в тюрьму, как и у забубенной Шуры.

Но уже все выяснено, они во всем признались, и Шура, и Маня, описали шаг за шагом свои поступки, объяснили все непонятное.

Самое непонятное для следствия было: как могла Аня исчезнуть незаметно для всех жильцов большого, густо населенного дома, где сотни людей спускались по лестницам, ходили по двору, глядели из окон. И вот одна из жилиц исчезла, исчезла на годы — неужели никто даже не спросил, куда она девалась, неужели мог человек пропасть, как иголка в стоге сена?

— Ну как же, — отвечала Шура. — Спрашивали. А я сказала: ушла и не пришла, почем я знаю? Ну, отвязались.

В уголовных делах есть свойство, драгоценное для литератора: все их детали с необыкновенной точностью рисуют

время, нравы, быт.

Убийство — это было со времен Авеля и Каина. Но то, что Шура после войны демобилизовалась в Ленинграде и что ей как фронтовой медсестре дали жилплощадь на чердаке большого дома, проведя на эту площадь электричество и утеплив ее от центрального отопления, — это могло случиться именно в конце 1945 — в начале 1946 года.

Шура была из семьи служащих. Привыкнув за время войны ко всяческой вольнице, в семью вернуться не пожелала, пожелала жить в прекрасном многообещающем городе Ленинграде. «Тут все можно выбегать», — говорила она. И выбегала жилплощадь, а затем и хорошую работу — официанткой в столовой военторга.

Тут она познакомилась с другой официанткой — Аней. Женщины понравились друг другу. У них были одинаковые вкусы, понятия, одинаковая фронтовая судьба. Аня была дочерью пермского прокурора и тоже, подобно Шуре, не захотела вернуться к отцу. Но она была менее бойка, чем Шура, жилплощади не сумела выхлопотать. Прошло сколько-то времени — она закинула удочку: не сдаст ли ей Шура угол в своей комнате. Оказалось — Шура может сдать угол. А как насчет прописки? Оказалось — и с пропиской можно устроить, если дать дворничихе 50 рублей.

Аня написала отцу. Прокурор прислал 50 рублей. Аня поселилась вместе с Шурой. Жили весело, что ни вечер — гости, патефон, танцы. Комод был уставлен фотокарточками военных, главным образом матросов — «морячков», как называли их подруги.

А тихая Маня жила в том же доме с мужем-рабочим и двумя детьми, ждала третьего и занималась хозяйством. По вечерам частенько отправлялась на чердак, к Шуре и Ане. Мужу не нравилось это знакомство, но Маня его не слушала. Ей, воспитанной в строгой семье потомственных ивановских ткачей, эти пирушки с танцами казались бог весть каким блестящим развлечением. Ведь днем — что: стоянье у коммунальной плиты, да постирушки, да забота как изловчиться, чтобы на небольшие деньги состряпать обильный и вкусный обед… Не выдерживала Маня — сдавалась: накормив мужа и детей, закручивала волосы на бигуди, причесывалась помоднее и по узкой лесенке бежала на чердак. А там уж топчутся под звуки патефона, и бутылка на столе, и любезные «морячки» — не чета хмурому, вечно недовольному мужу.

А потом случилась беда. Такая беда, какой Маня никогда и не чаяла.

Вдруг пришла к ней Шура и сказала:

— Поднимись ко мне, мне помощь твоя нужна.

Маня поднялась. Шура ввела ее в свою крохотную кухню. Там на полу лежала Аня, странно вытянувшаяся, со странно облепившими голову волосами.

— Бери за ноги, — сказала Шура. — Понесли.

Маня взялась за ноги. За дверью кухоньки было обширное пространство пустого чердака.

— Что ты, — сказала Маня, — ведь тут увидят.

— Не увидят, — сказала Шура, — сюда и не ходит никто.

Они положили тело на пол. Потом набрали воды в два ведерка и сообща замыли кровавый след на полу. Шура рассказала подружке, как это случилось: Аня приревновала к ней одного «морячка» и стала ее ругать. Она, Шура, не выдержала, схватила утюг и ударила Аню по голове.

— Что теперь будем делать? — спросила Маня.

— А ничего, — ответила Шура, — ты только молчи.

— А если спросит кто?

— Отвечай — знать не знаю, разыскивайте сами. Увидишь — никто и не сунется разыскивать.

Так оно и вышло. До 1950 года труп пролежал на чердаке.

Но в том году случился бунт женщин, живших в этом доме. Они взбунтовались против управдома — зачем держит чердак запертым, белье негде сушить… И так как управдом, по управдомовской своей амбиции, не хотел отворять чердачную дверь — женщины потребовали у него ключ и пошли отворять сами. Вошли и первым делом увидели скелет на полу. За годы, под железной крышей, труп истлел, остался чистый, обглоданный крысами, костяк. Ужасаясь, женщины кинулись в милицию.

Тотчас же прибыло следствие со всем, что полагается, и вскоре Шура была арестована.

Пришлось все рассказывать. В том числе и то, что Маня помогала переносить труп и замывать пол. Маня бросилась к мужу. Но чем он мог помочь теперь?.. Смятение и ужас поселились в смирной трудовой семье. Нечем вдруг стало дышать и Мане, и ее мужу.

Она ходила к следователю и давала свои показания тихим, ровным, безнадежным голосом. И уже это стало даже привычно ей. Даже стало казаться, что это может длиться невесть сколько, ничем не разрешаясь. Как вдруг однажды следователь сказал:

— Больше не могу держать тебя на свободе. Даю тебе две недели выпиши кого-нибудь из родных смотреть за детьми. Есть кого выписать?

— Сестра приедет, — сказала Маня, — если я позову.

— Ну вот, давай выписывай сестру.

Можно вообразить себе, какой был переполох в семье потомственных ивановских ткачей, когда пришло Манино письмо. Тотчас снарядили одну из сестер в Ленинград. Маня с рук на руки передала ей детей, кастрюли и корыто. Детей к тому времени было уже трое.

А теперь она сидела на скамье подсудимых рядом с накрашенной Шурой узколицая бледненькая женщина в старушечьей темной ситцевой кофте, с белым пуховым платком на маленькой русой головке.

А против них за особым столиком сидел скульптор Герасимов и все время зарисовывал эти две головы — разудалую и скорбную, почти мученическую.

Скульптора Герасимова пригласили на помощь в первые же дни следствия. Нужно было установить, кому принадлежит найденный скелет, и сделать это мог только М. М. Герасимов с помощью своего искусства. Согласно его теории, все выступы и впадины черепа определенным образом отражаются на чертах лица, и с помощью этих впадин и выступов можно восстановить облик умершего.

По черепу найденного на чердаке скелета Герасимов вылепил маску, потом ее сфотографировали. И выяснилось, что эта фотография абсолютно тождественна с фотографией исчезнувшей Ани. Так, собственно, и возникло первое подозрение против Шуры. Все, казалось бы, предусмотрела бедовая Шура — и людское равнодушие, и покинутость чердака, и время, превращающее тела в прах, — не предусмотрела скульптора Герасимова.

И все же это убийство, совершенное сгоряча в пылу бабьей ссоры, кажется не столь злодейским, как то, что творила женщина Шура после убийства. Она ухитрилась получать от своего злодеяния регулярный доход двояким образом.

Прежде всего она написала в Пермь Аниному отцу, прокурору, что Аня арестована, а она, Анина соседка и подруга, носит ей передачи, но что ей, бедному человеку, это трудно и она просит Аниных родных помочь ей. И прокурор стал регулярно присылать Шуре деньги, воображая, что они идут на передачи его дочери.

Затем среди Аниных вещей Шура нашла ломбардные квитанции на заложенные вещи. Удивительно, как при постоянных наших кликах о бдительности ломбард выдавал вещи другому лицу, но это факт — Шура получила по квитанциям все Анины вещи — платья, вязаные кофточки, блузки. Кое-что носила сама, кое-что продавала. Правда, Шура и тут словчила сказала служащим ломбарда, что Аня больна и поручила получить свои

вещи Мане, и когда явилась скромная Маня с ребенком на руках, служащие преисполнились доверием и отдали ей Анины вещи — вроде бы невероятно, но факт, установленный официальным следствием!

Шуру приговорили к тюремному заключению — на 7 лет, Маню на 5.

Много лет я думаю о Мане. Вспоминаю ее безответный облик, так не вязавшийся с преступлением, ее рассказ о том, как, замыв пол в Шуриной кухне, она вернулась к себе домой и два дня пролежала на диване, ничего не соображая, лишь изредка словно спохватываясь, что же это случилось и что теперь будет… Мне жаль ее и ее мужа, и всю эту семью в Иванове, о которой я знаю только то, что по первому зову Мани они снарядили ей на помощь сестру — то-то, поди, было слез, и объятий, и горя…

Я хотела написать эту печальную повесть от лица Маниной сестры, у меня даже была придумана форма повести — я еду в поезде из Ленинграда в Пермь и от станции до станции, по кусочкам, какая-то женщина еще молодых лет рассказывает мне Манину историю, и я даже специально поехала в Пермь, чтобы записать названия всех станций и их вид, но почему-то из этой поездки окончательно сформировался рассказ «Володя», а та повесть так и не написана, возможно — и не будет написана. Пусть же хоть в этой маленькой заметке останется история бедной маленькой женщины, сбитой с толку и бессмысленно сломавшей свое маленькое, но ясное и верное счастье.

ФЛОРЕНЦИЯ

В монастыре св. Марка

Вошли так обыденно, по билетикам, в деревянные ворота. Ступили на плиты дворика. В глубине его был каменный колодец с крышкой, как мельничный жернов, рядом одиноко росло старое дерево. С трех сторон вокруг дворика висели легкие галереи. Может быть, сам Савонарола ходил по ним, взглядывая вниз на колодец, на дерево, на темные фигуры монахов, пересекавших двор. Может быть, долетали до него сюда городские шумы с площадей, на которых по его слову сжигали на кострах картины и рукописи, музыкальные инструменты и роскошные ткани.

Нас повели в его келью. В маленькой его спаленке мы видели кусок власяницы, которою он умерщвлял свою плоть. В соседней комнатке стоит стол, у которого он писал свои проповеди и поверял монастырские счета.

«Так проходит мирская слава». По его слову драгоценные картины превращались в золу и прах. По его слову — повели он — некоторые и сами кинулись бы в огонь. Он не повелел им, сгорел сам, мученичеством оплатив погубленные им творения искусства. К тому месту, где он горел (от монастыря не так уж далеко), сейчас водят туристов.

Должно быть, все правильно. Должно быть, нельзя ни принуждением, ни уговором заставлять людей губить прекрасное. Люди губят-губят да и начинают задумываться о ценности прекрасного, погубленное вырастает в их глазах. Савонарола не подумал, как опасно приучать слабого человека слагать костры для сожжения. Как опасно приучать людей не щадить ничего. Они не пощадили и его, изувера, истребителя, опасного фантазера, вздумавшего играть с огнем.

БУФФАЛО

Всякая всячина

От дребедени до впечатлений высоких и мощных — все является мне, когда я оглядываюсь на американский город Буффало, или Баффало, как там произносят. И вижу я все это почему-то не вразбивку, а разом, всей горой, как будто высыпанной из рога изобилия, — гостиную в доме доктора-негра, куда нас пригласили в гости, немного чопорную гостиную, где пожилая черная леди, занимающаяся организацией досуга молодежи, расспрашивает нас, как организован этот досуг в Советском Союзе; где другие леди и джентльмены, тоже по большей части седовласые и чопорные, заинтересованно слушают наш разговор. Где вкусным чаем угощает нас нарядная хозяйка в уборе из поддельной бирюзы, и мы вдруг замечаем впервые, как удивительно хороша бирюза на черной коже и черных волосах, и сказки Шехерезады предстают нам в новом оперенье.

Еще видится мне перекресток с дощечкой-указателем, на дощечке надпись: «Улица Делаваров», и как нам всем в душу хлынуло наше детство, и Фенимор Купер с его благородными делаварами и вероломными гуронами, и как после улицы Делаваров мы долго, долго ехали мимо заводов, перед воротами которых были завалы шлака и мусора, и как нам подумалось, что в нашей стране нет такого беспорядка, а потом выехали на равнину, где росло несколько старых задумчивых деревьев, и нам подумалось; не правда ли, как это похоже на русские пейзажи, — и опять, как уже много раз, болезненно захотелось домой.

Но нам предстояло в Буффало еще многое — в том числе какая-то жидкая рощица; мы стояли в ней под дождем и вдруг нам сказали, что тысяча восемьсот такого-то года, такого-то месяца и числа здесь была кровопролитнейшая битва с англичанами, и между тощими деревцами нам мелькнул напудренный парик Лафайета и его кавалерские ноги в белых шелковых чулках. Тень Лафайета до сих пор живет в этой стране рядом с заводами и кафе-автоматами. Нам показывали комнаты, в которых ему случалось переночевать; в этих комнатах сохраняли обстановку его времени; по стенам там висели старинные гравюры и тоненькие изогнутые ножки стульчиков отражались в паркете, как в озере.

И там же в Буффало в какой-то совсем захолустной улочке мы искали какую-то калитку и наконец нашли, и в глубине дворика оказался флигелек, совсем такой, как, скажем, в Скотопригоньевске, городке, придуманном Достоевским. Окошки флигелька светили в скотопригоньевский дворик, а внутри флигелька стол был уставлен стаканами с коктейлем и кока-колой, и там были английские писатели Сноу и Памела Джонсон, был двадцатый век со всеми измышлениями своей цивилизации, которую, думается мне, вряд ли будут так беречь, как гравюры и стульчики восемнадцатого.

Но главное впечатление от Буффало была, конечно, эта неимоверная река, от которой захватывало дух, так она была просторна, могуча и светла под просторными, могучими и светлыми небесами. Там и сям из нее торчали камни, и тучи птиц, белые, серые и коричневые тучи, проносясь одна за другою, садились на эти камни! Грохот водопада стоял в ушах, не слабея ни на миг, и казалось, еще бродят где-то здесь великодушный Ункас и сам Кожаный Чулок, и было грустно, когда подъехали к ларьку, где продавались грошовые пластмассовые сувениры — брошки и значки, — они продавались перед лицом прекрасной первобытности, которая соприкасается с вечностью, перед лицом гремящего водопада, окутанного белым дымом, перед лицом противолежащего берега, где простираются владения Канады.

КЮСТЕНДИЛ

Цыганки

Женя Киранова, наш гид, товарищ и незаменимый друг в путешествии по Болгарии, сказала:

— Смотрите, цыганки.

Они выходили гуськом из магазина. Шедшая впереди несла в руках белое кружевце, от этой белизны руки казались еще смуглее. Три цыганки резко выделялись в пестрой толпе южного города. Большинство женщин на улице были в юбках, немногие — в брюках, эти три — в шальварах, кусок ткани, скрепленный между коленями, вольно обвисавший спереди и сзади, а вверху яркая вязаная кофточка — такова была их одежда.

Женя Киранова не могла рассказать о них ничего, кроме того, что они внезапно появляются на улицах городов, походят и исчезают снова, но, несомненно, за этими повадками, этими шальварами, этими необычными лицами была и большая история, и большая судьба, и как бы хорошо, если бы кто-нибудь продолжил дело русского ученого Грановского и написал бы нам о нынешних цыганах — кто они, и что они считают хорошим, а что — дурным, каковы их обычаи и чаяния.

Написать это я не могу, я просто опишу тех трех цыганок на солнечной улице Кюстендила.

Старшая, с кружевцами, была в небесно-голубых шальварах необъятной ширины и держалась важно. Черты ее лица были мягки. Ни резких линий, ни острых углов. Вероятно, в молодости она была очень красива: такие плавно приподнятые носики, такие нежно очерченные ротики, такие пушистые ресницы — неотразимы, и даже старость не убивает их прелести. Сквозь смуглость и загар бил свежий румянец и проступала маленькая родинка у уголка рта. Пусть наполовину белы были ее волосы, пусть темны и сморщены были опущенные руки, пусть вились по ним фиолетовые набухшие жилы, чувствовалось, что эта плечистая и румяная мать семейства еще долго будет видеть солнце, долго будет гулять по городам в своем голубом наряде, заходить в магазины и покупать полюбившиеся ей товары, и, может быть, дарить их своим внучкам и правнучкам.

За этой старой шла помоложе и понарядней, в шальварах из пестрого ситца, в ярко-зеленой вязаной кофте, в золотых серьгах кольцами. Ее кожа, загоревшая до темно-коричневого цвета, слоилась на шее, как слоится кора сосны. Просвечивая на солнце, мочки маленьких ушей рдели, как вишни. Сухие, в лучевидных трещинах губы приоткрылись в улыбке и показали белизну ровных крупных зубов. Как удивительно шли ко всему этому золотые кольца серег и коралловое ожерелье на шее! Но самое удивительное у этой женщины были глаза. Когда она их поднимала вверх, похоже было, что медленно поднимаются две черные звезды на голубоватом небе. Звездной бездной, звездной тайной веяло оттуда.

А третья цыганка была еще — цыганочка, еще — зародыш,

еще — никакая. Девочка в ярко-красных шальварах, зажженная спичечка, повернутая пламенем вниз, такою двигалась она по людной улице, такою я запомнила ее. Была ли она дочерью второй цыганки, внучкой первой? От второй у нее, несомненно, были глаза — тот же голубой белок и на нем неразведанные черные планеты. От первой, старшей, она унаследовала нежность черт, прелесть мягкой, призывающей женственности.

Так прошли мимо нас эти три цыганки, неся перед собой дешевое белое кружевце, и вот они были уже далеко, уже исчезли в толпе их яркие наряды, и улица Кюстендила приобрела свой обычный вид — не то видение, не то картинка к сказкам Шехерезады, ведь были же во времена Шехерезады и лавки с выставленными в окнах товарами, и серьги кольцами, и яркие шальвары, и прекрасные девушки, на мгновение являющие свою красоту, чтобы насмерть поразить сердце какого-нибудь молодца с орлиным носом и с бровями, похожими на бесстрашный полет сокола.

ЛОНДОН

Случай в плотницкой мастерской

Нет, не помню имени художника, не помню, как называлась галерея, где я видела эту картину. Помню лишь картину, запечатлевшую некий случай в некой плотницкой мастерской.

Мастерская была обширная, напоминавшая большой сарай. Солнце проникало в нее через широкие ворота в задней стене. Ворота были открыты, в них сиял зеленый летний день. Посреди мастерской стоял верстак, за ним работал плотник в грубой одежде, со стариковской бородой. Ему помогали двое, похожие на него лицом, но с бородами помоложе. Все они отвлеклись от своего дела и повернулись несколько в сторону, потому что в мастерской случилось происшествие. Мальчик — нет, скорей уже подросток — поранил себе ладонь гвоздем, из раны кровь струилась на пол, на светлые древесные стружки. Молодая мать стала перед мальчиком на колени и глядела на него, только глядела. А те трое у верстака глядели на них обоих, уткнув в грудь бороды.

Мне очень жаль, что я не записала имя художника, я ведь знала, что моя память плохо удерживает имена, я должна была записать.

Смена караула в Букингемском дворце

Я слышала и читала, что есть в Лондоне зрелище очень пышное и волнующее — смена караула в Букингемском дворце.

Там будто все как сотни лет назад. И форма гвардейцев, и маршировка, и малейшие подробности церемонии — чуть ли не как при Шекспире.

Один путешественник не так давно писал об этом просто вне себя от восторга. И когда я приехала в Лондон, то тоже пошла посмотреть это знаменитое представление. И вот что оно такое.

Было воскресенье, и мы стояли толпой у решетки, предвкушая нечто неимоверно занимательное.

За решеткой был большой двор, мощенный серыми плитами, и в его глубине — дворец. В одном из верхних небольших окон белело женское лицо. «Уборщица», — сказал кто-то.

За нашими спинами была площадь. По краям ее сновали автобусы, а посредине громадой возвышался памятник королеве Виктории.

Королева, как и мы, глядела на дворец. Только не сквозь решетку, а поверх нее.

К дворцу прислонены будочки, и в будочках стояли гвардейцы, тот самый караул, который надлежало сменить: в красных мундирах и черных высоких шапках, обнаженная шпага в руке.

Они кажутся очень маленькими, когда на них смотришь через пространство большого двора. Лица под нахлобученными меховыми шапками, перевязью подхваченные почти у самых губ, — крохотные, треугольные, от скованности невыразительные, как у игрушечных солдатиков.

Один почесывался в своей будке. Верно, затекло у него все, не мог дождаться смены. Смотрел на нас и чесался. И мы, вольные зрители, сочувствовали его положению. Другой был смелей, выходил из будки и прохаживался, разминаясь.

В общей сложности у нас на виду было шесть караульных.

Наконец пришел их начальник, привел еще шестерых. Они маршировали, высоко взбрасывая ноги. Поверх мундиров у них были короткие пелеринки от дождя.

Начальник своими руками снял пелеринку с плеч одного гвардейца и надел на того, что стоял в будке. И эти два поменялись местами: лишенный пелеринки стал в будку, обнажив шпагу, а тот, что вышел, стал в строй и пошел за начальником.

(Перед этим они немного потопали на месте, громко ударяя сапогами о каменные плиты.)

И так же было поступлено с тем, которому мы сочувствовали. Мы были рады за него, когда он вышел из будки, одетый в пелеринку.

(Пелеринки, как мы разглядели, — из пластиката. Чтоб не портились, значит, казенные мундиры. При Шекспире пластиката не было, шили из чего-нибудь другого.)

Говорят, когда играет оркестр, все это выглядит более пышно и волнующе. Но он почему-то играет, только если дождя нет. А в то воскресенье накрапывал дождь, и музыки не было.

Зрители стояли вдоль решетки и щелкали фотоаппаратами, просовывая их между прутьями.

Дети щелкали орехи и сдирали кожуру с апельсинов, и сквозь решетку бросали бумажки от конфет во двор, где происходило действо.

«Откуда я знаю этого англичанина? — подумала я. — Боже ты мой, но ведь я его великолепно знаю, вон того тропически загорелого англичанина!» Тропический англичанин шел решительным шагом, нахмурив густые брови, засунув руки в карманы и бросая по сторонам быстрые огненные взгляды.

И я силилась вспомнить — где же, когда же я могла познакомиться с такой интересной личностью. А потом мои товарищи, подойдя, сказали:

— Видели? Сейчас здесь прошел Расул Гамзатов.

Я посмотрела кругом и увидела лица всех оттенков и складов, белые и темные, северные и южные. И услышала французскую речь и немецкую и еще не знаю какую. Тут все приезжие, поняла я.

Разве что детишки здешние. Маленькие бритты, по-хозяйски бесцеремонно они швыряют в дворцовый двор конфетные бумажки и апельсинные корки. Гости ведут себя вежливей.

Да вот эти три рослые женщины в синей полицейской форме, в нагрудный карман вложен свисток на цепочке — это, безусловно, англичанки.

Да громадная серая королева Виктория посреди площади, сквозь дождь смотрящая со своего постамента, была англичанкой. А остальные иностранцы.

Для иностранцев, подумала я, и сохраняется детская игра, называемая сменой караула в Букингемском дворце. В качестве приманки. Как одна из лондонских эксцентричностей. Как черные вороны и выставка старинных орудий пытки в Тауэре.

На месте англичан я бы эти орудия не показывала. Если жалко уничтожить — спрятала бы подальше, чтоб никто не видел.

Мало ли у кого что было. Есть вещи, о которых надо забывать и отдельным людям, и народам.

К счастью, это забывается. Вот, например, в России в царствование Елизаветы Петровны смертной казни не было, и люди отвыкли. И когда после двадцатилетнего перерыва, при Екатерине, в Петербурге публично казнили безумца Мировича, народ, стоявший вокруг места казни и на мосту, не верил, что сейчас у него на глазах будут рубить голову человеку; ждали, что объявят помилование от царицы; а когда палач поднял и показал отрубленную голову — народ «единогласно ахнул и так содрогся, что от сильного движения мост поколебался и перила обвалились», говорил Державин; и многие потонули.

Из этого примера видно, что можно, даже не прилагая специальных усилий, в сравнительно короткие сроки отучить людей от зверств.

Мы с поэтессой Маргаритой Иосифовной Алигер не пошли смотреть на орудия пытки, нас тошнило при мысли о них. Сославшись на усталость, мы сели на лавочку в просторном, чисто прибранном дворе, одном из внутренних дворов Тауэра. Каменные строения с неправдоподобно толстыми стенами окружали двор. Крепость эта древняя: часть ее построена еще в одиннадцатом веке, когда на Руси княжили Ярославичи.

Среди этих стен, таких нешуточных, с такой длинной свирепой историей, удивительно пустяково выглядел деревянный навес, похожий на те, под которыми на неблагоустроенных рынках торгуют молоком и овощами. К навесу стояла очередь: там показывали брильянты, принадлежащие английской короне. А по газону ходили, ни на что не обращая внимания, черные вороны, большие, как собаки.

Когда-то воронья здесь было видимо-невидимо. Средневековой Британии редко перепадали мирные времена. Тауэр был осаждаем многократно и подолгу. Воронье несло санитарную службу: пожирало трупы в крепости и за ее стенами. Эти несколько птиц содержатся в память о минувшем. Они тучные, раскормленные, никого не боятся. На ярко-зеленом газоне разбросаны куски сырого мяса. Ворон подходит, когтистой ногой наступает на мясо, ударяет твердым клювом — в клюве красный клок…

Вороны живут долго: может быть, не так уж много поколений отделяет теперешних от тех, что девять столетий назад несли

здесь санитарную службу.

Нам рассказали, что когда во время последней мировой войны один ворон приказал долго жить — под разрывами «фау-2» срочно разыскивали нового, требуемых кондиций, для пополнения комплекта. Сколько штук должно быть в комплекте — не помню, забыла.

Мы с Маргаритой Алигер сидели на лавочке, смотрели, как толстые черные птицы с умными недобрыми глазами клюют свою кровавую пищу, и рассуждали — почему это, в силу каких причин человечество так дорожит самыми отвратительными страницами своего прошлого? Почему всякое злодейство записывается, и чем оно ужасней, тем тщательней записывается, вроде Ольгиной расправы с древлянами, или подробностей Варфоломеевской ночи, — а о деяниях высоких и добрых упоминается, как правило, наскоро, вскользь, в большинстве же случаев не упоминается вовсе? В результате каждая строка истории ушатами преподносит потомкам кровь и насилие, словно единственно достойное их, потомков, внимания. А между тем пласты неотмеченных, оставленных в пренебрежении прекрасных дел все глубже погружаются в забвение, в небытие; и в недоуменной печали стоит Человек перед списком своих окаянных поступков…

Нас окликнули и повели осматривать тюремные помещения. Несколько столетий Тауэр был местом заключения важных государственных преступников. Каких тут не пересидело королей и королев, пэров и сэров. Что ж, перед народом они все были преступны; но не за вины перед народом их сюда сажали: в междоусобице стяжателей и властолюбцев тоже неизбежно бывают побежденные, как во всякой драке, — их держали тут.

Многих тут же прикончили. Заботливо зафиксировано: где кого и как кончали. В маленькой комнатушке, куда ведет узкая деревянная лестница, были задушены ночью два мальчика, королевские дети. Их заточил и приказал умертвить их дядя и опекун Ричард Глостерский. Есть известная картина как эти мальчики, ухватясь друг за друга, слушают шаги крадущихся убийц. По этой тесной лестнице гуськом крались убийцы, ступеньки скрипели; мальчики слышали скрип, в комнатушке горела одна свечка, а кругом была каменная тьма, некому крикнуть «спасите», некуда бежать. Эта старинная кровать деревянная, сказали нам, — та самая. В общем, обстановка на картине дана правильно. Мало-мальски впечатлительное воображение может, при желании, живо воспроизвести это детоубийство…

Прочь из этих стен! Из застенков! Мы больше не хотим воспроизводить такое!.. Дождь, ливший два дня подряд, сегодня

дал передышку и себе, и нам. Омытое дождем, все зеленое до того зелено, все синее до того сине, что сердце радуется… Ладно! Кровавые камни в конце концов не страшны, если их держат как наглядное пособие по истории. Скорей бы такая участь постигла все кровавые камни на зеленой земле под синим небом.

ЛОНДОН

Уличные акробаты

Эти двое были неправдоподобны на шумной лондонской улице, они не принадлежали этой улице, они вышли не из переулка, а из прошлого века, из какого-нибудь романа Диккенса, вроде «Лавки древностей»: старик с белоснежной головой и благообразным худощавым лицом и прелестная девушка, маленькая, нежная и хрупкая (все любимые героини Диккенса миниатюрны и нежны), с кудрявой каштановой головкой (Диккенс любил каштановые кудри). На обоих было черное трико, а сверху — что-то вязаное, сугубо современное; у девушки поверх каштановых кудрей черный беретик.

В Англии запрещено просить милостыню: английский подданный должен жить трудами рук своих. Эти двое жили трудами своих рук и ног — они были уличные акробаты.

Один за другим были показаны разные акробатические трюки, замысловатые и простецкие. Ареной этим людям служил асфальтовый тротуар, публикой — вся уличная толпа.

После каждого аттракциона девушка снимала беретик и обходила зрителей; и многие бросали в беретик монетки.

Затем она подошла к старику и показала ему, сколько собрано. И, должно быть, он сказал «хватит», потому что они ушли. Повернулись и ушли за угол, в прошлое столетие, в роман Диккенса.

ЛОНДОН

Художник, рисующий кошек

А вот этот нищий изобрел себе для пропитания другое занятие — он сидит на тротуаре и рисует кошек. Ничего кроме кошек: ни собак, ни птиц, ни цветов — только кошки. Асфальт вокруг него покрыт белыми кошками, потому что рисует он

мелом. Кошки во всевозможных позах — и лежачие, и стоящие, и сидящие кувшинчиком. А кругом художника стоят зрители, смотрят внимательно.

Какой-то старичок что-то сказал — художник взял мел и поправил кошке ухо.

Фетровая шляпа стоит тут же между кошками, опрокинутая, в нее с легким звоном падают монетки. Сколько-то он соберет монеток — пойдет в кухмистерскую пообедать, а завтра с утра опять воссядет на асфальте и будет рисовать белых кошек, стараясь, чтобы правильно были изображены и уши, и усы, и хвосты, чтобы стоящие кругом старички и старушки, любители и знатоки кошек, ни к чему не могли придраться, чтобы собрать достаточно монеток, чтоб хватило на обед и кружечку пива.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

«Не надо, ребята, о песне тужить…»

Кто не знает светловской «Гренады»? Кто, узнав ее, не полюбил эту прекрасную поэму? Что касается меня, я полюбила ее с первого дня и день этот помню в точности.

Утром пришел номер толстого журнала (вот только не помню, был ли это «Новый мир», или «Красная новь», или «Октябрь»), и муж мне сказал:

— Послушай, я тебе прочту стихи.

А прочитав, спросил:

— Какое место тебе больше всего нравится?

И я, не размышляя, прямо показала на концовку поэмы — на то место, где мне горло стиснули слезы. (А ведь хорошо поплакать над стихами… Куда лучше, чем посмеяться.)

Новые песни придумала жизнь.
Не надо, ребята, о песне тужить.
Не надо, не надо, не надо, друзья.
Гренада, Гренада, Гренада моя!

Можно бы и не цитировать эти строчки — их, несомненно, знают все. Но вот чего, вероятно, не знают многие и о чем нам, старым ростовчанам, рассказал когда-то сам Михаил Аркадьевич Светлов, — это того, как родился замысел стихотворения, из какого зерна оно проросло.

Это связано с городом моей юности, Ростовом-на-Дону, куда

неоднократно заезжали известные поэты, в том числе и М. А. Светлов.

В годы нэпа в Ростове был ресторан «Гренада». Неказистый подвальчик, из недр которого днем и вечером гремела гармонь. В «Сентиментальном романе» этот подвальчик назван «Не рыдай». Я не выдумала это название, был у нас и ресторан «Не рыдай», он считался самым шикарным. Но Светлов миновал «Не рыдай», судьба привела его к «Гренаде». Он стоял над идущими вниз ступеньками кабачка, и в лицо ему ударили переборы гармони, игравшей знаменитое «Яблочко». Он поднял голову — над ним была вывеска с крупными буквами: «Гренада». Вот так, рассказывал Михаил Аркадьевич, из сочетания «Яблочка» и «Гренады» возникло стихотворение:

Мы ехали шагом,
Мы мчались в боях
И «Яблочко»-песню
Держали в зубах.

Случайность? Конечно. Светлов мог никогда не узнать о существовании «Гренады». Гармонь могла играть не «Яблочко», а «Кирпичики» или «Стаканчики граненые» — тоже очень популярные в то время песни. Но обстоятельства сложились так, как они сложились; «Гренада» была написана и стала во главе всего сочиненного Светловым.

Написала это и невольно вспомнила строчки Анны Ахматовой:

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как дикий одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.

А читателю все едино; лишь бы хороши были стихи. «Гренада» хороша. И что выросла она легко и вольно, без принуждения — это видно по полету стиха.

Пусть же растут и растут новые и новые летучие стихи. Пусть жизнь придумывает новые и новые прекрасные песни.

1971

Примечание

Впервые: Нева. 1971. № 3; Заметки…[1] (с добавлением новой главки «Ленинград. Шура, Маня и Аня» и публиковавшегося ранее рассказа «У старого художника»). В настоящем томе публикуется по книге «Заметки…» с исключением некоторых глав, которые полностью или частично вошли в автобиографическую книгу «О моей жизни…»[2] (см. примеч. на с. 557 наст. тома). Из цикла, соответственно, исключены главки: «Ростов-на-Дону. Явление любви», «Ростов-на-Дону. Гимназия Любимовой — начало самостоятельной жизни», «Ростов-на-Дону. Володя Филов. Работа в газете», «Ленинград. Первые впечатления», «Этого письма я ждала и дождалась», «Пермь. Как пекли картошку».

К своим последним мемуарным произведениям Панова обратилась после тяжелой болезни, поразившей ее в 1967 г., и сам процесс работы потребовал от нее огромных душевных и физических усилий. В августе 1969 г. она сообщила другу юности по Ростову писателю Вениамину Жаку: «По совету врача, почти ежедневно работаю — пишу, говорят, это даже содействует восстановлению… Я начала набрасывать что-то вроде воспоминаний, в значительной мере они, естественно, касаются моего покойного мужа и его дел… Писать эти воспоминания мне трудно, я словно вторично переживаю всякую горестную минуту, но считаю своим долгом хотя бы для детей оставить память об отце… Поклон всем общим знакомым и городу Ростову-на-Дону вместе с Нахичеванью. Я о ней тоже напишу» (Цит. по ст.: *Жак В.* Мужество таланта: К 75-летию со дня рождения Веры Федоровны Пановой // Веч. Ростов. 1980. 20 марта).

В процессе работы над воспоминаниями общий замысел Пановой разделился по двум руслам. В первый цикл «Из запасников памяти», напечатанный при жизни автора, вошли в основном краткие лирические зарисовки некоторых лиц и событий, а порой и просто мимолетные впечатления, сохраненные за многие годы удивительной памятью художника.

«…Я обнаружила в себе, — подтвердила Панова, — как бы некие запасники, куда совершенно непроизвольно откладывались впечатления и наблюдения, чтобы затем явиться без всякого моего усилия в нужный момент и занять свое место в моей работе. Уже когда я писала первые свои книги „Спутники“, „Кружилиху“, — эти запасники вдруг являлись, как бы всплывая, и служили мне поистине неоцененную службу. Это были характеры, лица, имена, судьбы, голоса.

Может быть, такого рода механическая память и отличает

писателя от неписателя. Это всплывание в нужный момент — не оно ли называется вдохновением!»

В работе над циклом «Из запасников памяти» Панова заново проверяла свою способность черпать из пережитого, и оказалось, что эту способность поэтического воссоздания жизни в неожиданных подробностях и деталях у нее не смогла отнять даже тяжелая болезнь. Принцип выбора подробностей в данном цикле — подчеркнуто диахронный; перед нами пестрый и красочный калейдоскоп отдельных заметок и зарисовок, извлеченных в свободном подборе из запасников памяти. Каждое впечатление существует отдельно, как мазок у импрессионистов; внешне они мало связаны между собой во времени и пространстве, и тем не менее все впечатления из разных лет и разных мест собственного бытия объединены общностью настроения, чувством глубокой привязанности к людям, к жизни, к ее красоте.

Некоторые главки, впервые опубликованные в цикле «Из запасников памяти», явным образом тяготели к жанру семейной хроники — эта линия воспоминаний и была специально развита в следующем произведении Пановой «О моей жизни, книгах и читателях». Писательница вернулась здесь к впечатлениям детства, отрочества и юности, развернула широкую ретроспективу жизни в 1920–1930-е гг., рассказала о событиях Великой Отечественной войны и основных этапах своего послевоенного литературного творчества. 1 июня 1972 г. Панова подтвердила в письме к сотруднику ЦГАЛИ[3] М. Г. Козловой: «Что касается черновиков „Заметок литератора“ (цикл „Из запасников памяти“ составил второй раздел этой книги, опубликованной в апреле 1972 г. — А. Н.), то их было такое множество, что, боюсь, нам с Д. Я. их и не собрать. Но уже готовлю для ЦГАЛИ черновик мемуаров, которые хоть, на мой взгляд, абсолютно не получились, так как я не нашла для них формы, но в архиве моем должны, конечно, находиться. Я пошлю Вам экземпляр того варианта, который я приготовила для моих детей. В журнал и издательство дан другой вариант» (ЦГАЛИ. Ф. 2223, оп. 2, ед. хр. 65, л. 38–39.).

Над следующей книгой, непосредственно связанной с «Заметками литератора», Панова продолжала работать до конца дней, стремясь найти необходимую литературную форму и для этого мемуарного повествования.

Из массы материалов, накопленных в запасниках памяти и представленных сначала в свободном калейдоскопическом подборе, появилось новое произведение, последовательно развернутое во времени — повесть о своей жизни и литературном

труде, представленная как одно целое.

notes

Примечания

1

«Заметки…» — *Панова В.* Заметки литератора. Л.: Сов. писатель, 1972.

2

«О моей жизни…» — *Панова В.* О моей жизни, книгах и читателях.

3

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (Москва).